

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б 38

Бежин, Леонид.

Б 38 Разговорные тетради Сильвестра С. / Леонид Бежин. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 400 с. — (Городская проза).

ISBN 978-5-17-114620-7

Разговорные тетради композитора Сильвестра Салтыкова таинственно связаны с судьбой России. Сильвестр записывает в них доверительные и откровенные разговоры с выдающимися современниками и людьми из потустороннего мира. Тетради Сильвестра С. были похищены и вывезены из страны, и этим, по мысли автора романа, и объясняются все беды, несчастья, страдания и утраты России.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114620-7

© Текст. Леонид Бежин, 2019
© Оформление ООО «Издательство АСТ»

Предисловия издателей к их книгам обычно бывают короткими. Если воспользоваться русским речевым оборотом — с гулькин нос. Нос, или клювик, у нашего гульки, каких великое множество перед собором св. Марка в Венеции (тучей вздымаются ввысь), по размерам... ну, совсем маленький, с ноготок мизинца. Вот и предисловия издателей, как правило, не больше странички.

Они ограничиваются поклонами и реверансами. Как то: принесением благодарности за финансовую поддержку лиц, чьи имена здесь же благоговейно перечисляются, выражением скромной надежды на успех и прочим никому не нужным вздором — вроде признания за читателем права судить о достоинствах книги и смиренного отказа выносить собственные суждения.

Собственные-то, они, мол, заранее обречены на страстность и лицепрятие.

Я не намерен отступать от этой благочестивой традиции и постараюсь быть кратким, употребив такие же старания на то, чтобы по возможности избежать откровенного вздора: его в наше время и без того хватает.

Даже от застоявшейся на солнце воды сказочно-прекрасных каналов Венеции подчас ударяет в нос затхлым запашком, а это разве не вздор?!

Поэтому позволю себе лишь несколько вступительных слов, хотя сознаю, что похвальное стремление к краткости

подчас оборачивается невыносимыми длиннотами (невыносимыми, как душающая тропическая жара или затянувшаяся церковная проповедь, предшествующая банкету).

Итак, сразу о главном.

Выпуском этой книги мне прежде всего хотелось бы загладить чувство вины перед родиной автора — Россией, которую я очень люблю (хотя подчас и ненавижу), и ее великой культурой. У нас на Западе Россию называют великой из-за ее огромных размеров (одна Сибирь занимает поистине необозримые пространства), но это не та великость, коей следует удивляться. Гораздо больше впечатляет величие мысли, гениальных открытий, художественных прозрений, охватившее полмира — да чего там! — весь мир.

России принадлежат такие континенты, как Толстой и Достоевский, Чайковский и Рахманинов, Врубель и Кандинский, — всего не перечислишь (перечисляю самое известное, поскольку не обладаю достаточными знаниями для более изысканного выбора).

И вот по моей вине эта великость умалилась, ужалась, скукожилась и стала размером с медный пятак. Объяснюсь, чтоб меня поняли.

С тех пор, как я приобрел на аукционе разговорные тетради Сильвестра Салтыкова, некогда известного, а ныне почти забытого русского композитора, и увез их к себе на остров Сицилию (там у меня окруженный виноградником дом с балконами и верандами), в России начался ужасающий культурный упадок. Мне не раз говорили, что между тетрадями и судьбой России существует некая глубинная связь, которую даже называют мистической, но я, признаться, этому не очень-то верю. Я и в непогрешимости папы подчас сомневаюсь и свои коммерческие секреты не выдаю даже на исповеди. К тому же я слишком

хорошо знаю русских, у которых на все найдутся особые и, конечно же, мистические (о-го-го!) причины.

Без этих мистических-то у них и чаю не выпить, и в дурака не сыграть...

Но вот незадача: поверить-то мне все-таки пришлось. Едва лишь сафьяновый, винно-красного цвета портфель с тетрадами, пристегнутый к наручнику, какие некогда носили дипкурьеры (я обожаю подобный старомодный антураж), покинул пределы России, там — после недолгого ренессанса, опьянения свободой, публикации запрещенных некогда книг, всеобщей эйфории и самых радужных надежд — все зашаталось, затрещало и рухнуло в бездну.

Россия себя утратила, втоптала в грязь, перестала быть страной культуры. Культуру, гордость России, отдали на посрамление, довели до крайнего унижения, *опустили*, как в тюремной камере опускают новичка, заставляя спать возле парашаи. И от великих континентов остались жалкие островки в заболоченной, мутной, подернутой ржавчиной (цветущей) воде.

Меня умоляли, и на самом высоком дипломатическом уровне, вернуть тетради, но уж тут извините. Не очень-то вы ими дорожили, раз позволили мне, итальянцу, по дешевке их купить и вывезти. И таможня не заподозрила неладного, не возмутилась, не забила тревогу, получив в виде поощрения *борзого щенка* (так у русских называют взятки).

Чтобы возместить ущерб, нанесенный мною России, я и решил опубликовать произведение, написанное прежним владельцем разговорных тетрадей, скрывшимся под инициалами М. П., что может означать Михаил Петрович, Модест Павлович, а может — самая причудливая и экстравагантная версия — Место для Печати. Ну, знаете, в левом нижнем углу документа... Хотя в данном случае это,

конечно же, аллегория, подразумевающая Место для Печати, которую ставит Господь Бог.

Иными словами, автор готов к тому, чтобы на нем запечатлелась Воля Божия. Право же, неплохо для автора романа о пути музыканта, вдохновляемого церковным пением допетровских времен — так называемым *знаменным распевом* (а роман при всей его сложности и многоплановости именно об этом).

Иными словами, Сильвестр Салтыков, главный герой романа, не заключал сделки с дьяволом, а напротив, уподобляясь древнерусскому иконописцу, своим творчеством стремился послужить... (Окончание фразы пропущено по недосмотру корректора. — Издательство.)

Однако продолжу. В моем маленьком издательстве я привык печатать лишь то, что мне нравится и что доставляет мне удовольствие как читателю. Мне и только мне, поэтому другие это никогда не напечатают. Я трезво воспринимаю коммерческий успех своих книг, не пренебрегаю им, но и за ним не гонюсь, рассуждая так: если захочет, то и сам явится. В этом меня до самой своей смерти поддерживал мой хороший знакомый Джанджакомо Фельтринелли (он трагически погиб в 1972 году), человек при всей своей трезвости склонный к романтическим безумствам и рискованным авантюрам, утонченный эстет и член компартии, итальянский издатель «Доктора Живаго». Мы с ним сошлись во мнении, что с публикацией «Доктора» и присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку, нами глубоко чтимому, пустовавшая некогда ниша заполнилась.

К тому же успех «Доктора» приобрел скандальный оттенок: пошли слухи о причастности спецслужб к публикации романа. Поэтому читающая публика, охладевшая к русским романам, вряд ли почтила бы своим вниманием

несвоевременно изданную новинку. Да и наивно было бы здесь, на Западе, почти утратившем веру (собственно, отсюда упомянутый выше недосмотр корректора), ждать успеха от книги, посвященной русскому церковному пению и его знатоку Сильвестру Салтыкову.

Этим я и воспользовался для того, чтобы избежать шума и скандала. Я напечатал роман М. П. скромным тиражом, без всякой рекламы, подкупа рецензентов и прочих приемов коммерческого рынка. На презентации, устроенной мною (смешно сказать!) в охотничьем клубе, не набралось и десятка участников. Да и ими, больше привыкшими травить зайца и выманывать из норы лису, вся эта процедура, признаться, воспринималась как дичь.

Для меня же публикация была важна лишь тем, что я таким способом мог хотя бы частично вернуть России долг — разговорные тетради, на которых, собственно, и основан роман.

Ну, и еще кое-что личное подтолкнуло меня к этому. При чтении романа меня тронуло, что Сильвестра сначала хотели назвать моим именем — Паоло. Кроме того, моя фамилия — Волконский (я потомок русских эмигрантов) — не уступит по знатности фамилии Салтыковых. Тут мы с ними еще поспорим. Все это наводит меня на мысль (примите ее как шутку), что я тоже отмечен Печатью, что Господь поначалу прочил меня на место Сильвестра Салтыкова. Но в последний момент Он передумал. Передумал и обрек Сильвестра на то, чтобы родиться в многострадальной России, а меня пожалел и ниспослал мою душу в благословенную Италию.

P. S. Прошу прощения за то, что предисловие все же немного затянулось.

*Паоло Волконский, директор издательства
«Vita nuova», Сицилия, Палермо, 2007 год*

Тетрадь первая
А может, он старец

1

При всех моих недостатках и даже пороках, коих я заведомо не отрицаю (а, наоборот, с готовностью признаю), я неповинен, пожалуй, только в одном. Я никогда не отказывал себе в удовольствии быть до простодушия откровенным и искренним, хоть это и выглядело подчас не совсем уместным, нарушающим приличия и даже скандальным. «Боже, что он несет! Зачем это?! Кому это нужно!» — прочитывалось на лицах тех, кто меня слышал в такие минуты, испытывая при этом единственную потребность — поскорее заткнуть мне рот любым попавшимся под руку предметом.

Так в одном восточном стихотворении зардевшаяся от стыда молодая жена затыкает гранатом рот попугая, разболтавшего при родителях все то, о чем молодые шептались за пологом кровати.

Я же, как и тот попугай, все равно не отказывал себе в упомянутом удовольствии... ха-ха... И даже с удовлетворением потирал смазанные душистым персиковым кремом руки (род моих занятий заставляет следить за руками), словно полученное удовольствие служило хорошим возмещением убытков — платой за косые взгляды, осуждающий шепот и поруганную репутацию.

Вот почему я никогда не делал тайны из того, как мне достались разговорные тетради недавно почившего в Бозе Сильвестра Салтыкова. А напротив... с простодушной откровенностью... все выкладывал как на духу, выбалтывал первому встречному: «А вы знаете, тетради Сильвестра Салтыкова, заветные тетрабочки, мне достались презабавнейшим образом. Я вам сейчас расскажу. Можно даже под водочку: две-три стопки нам не повредят. Расскажу — вы не поверите. Со смеху помрете».

И рассказывал, и старался что-нибудь этакое ввернуть, и меня с сочувственным недоумением выслушивали, хотя со смеху никто не умирал...

Сильвестр Салтыков!

Для тех, кто еще не слышал этого имени, я мог бы добавить: композитор Сильвестр Салтыков (но композитор, прошу заметить, тайно постриженный в монахи, что, впрочем, до конца не выяснено из-за отсутствия документальных свидетельств). Мог бы, но считаю сие излишним, нелепым и даже оскорбительным, как нелепо и оскорбительно словосочетание «композитор Сергей Рахманинов», словно это имя нуждается в каких-то уточнениях и добавлениях.

Рахманинов — и этим все сказано!

Точно так же я говорю: Сильвестр Салтыков! Если некоторые не знают, кто это, и даже не считают себя обязанными знать («Есть Моцарт, Бетховен, Шопен — с меня достаточно»), то им же хуже, поскольку они тем самым расписываются в собственном дремучем и непроходимом невежестве. А главное, лишают себя драгоценной возможности постигать музыку не только слухом (усполаживая свой слух изысканными мелодиями и терпкими гармониями), но и — бери выше! — духом, обретая в ней то, что Сильвестром уподоблено драгоценной жемчужине, прообразу Царства Небесного.

Вернее, уподоблено Евангелистом, но для Сильвестра язык Луки или Матфея всегда был его собственным языком...

Однако вернемся к добавлениям и уточнениям.

2

Добавление же здесь может быть только одно.

Сильвестр Салтыков, недавно умерший от астматического удушья в Кёльне. Он был приглашен туда на премьеру своего сочинения, пролежавшего под спудом двадцать лет и извлеченного оттуда усилиями преданных друзей и почитателей, не оставлявших надежды его исполнить — пусть даже не у нас, а в Германии.

Премьера имела оглушительный успех. Все-таки немцы еще не утратили своей природной музыкальности и способности, не удовлетворяясь запросами меломанов, постигать самые сложные умозрительные построения, для которых нотные знаки — лишь повод приоткрыть дверцу в сферу чистого духа.

Вряд ли такое было бы возможно в Вене, где после короля вальсов Иоганна Штрауса безраздельно властвует король додекафонии Пьер Булез, наделенный почти диктаторскими полномочиями в отстаивании интересов Новой венской школы и ее отцов-основателей — Арнольда Шёнберга, Антона Веберна, Альбана Берга. Но немцы, слава богу, свободны от этих узких музыкальных пристрастий и не склонны отрицать все, что не укладывается в прокрустово ложе изобретенной Шёнбергом двенадцатитоновой (додекафонной) системы.

Поэтому нашему автору аплодировали стоя, оркестранты постукивали смычками по пюпитрам, на сцену летели

цветы, чего редко дождешься от чопорной европейской публики. Хотя справедливости ради должен уточнить: цветы преимущественно от русских туристов, не упускающих случая поддержать соотечественника здесь, в Европе, при полном к нему равнодушии у себя на родине. Множество восторженных рецензий появилось в газетах. В них как особое достоинство отмечался литургический характер музыки, воссоздающей современными средствами красоту православного богослужения, к которому немцы издавна питают слабость.

Сильвестр, не избалованный успехом, был счастлив, как никогда в жизни. Его повсюду принимали, водили, показывали, и, по свидетельству жены, он, несмотря на возраст, чувствовал себя превосходно. Но, когда поднимались по лестницам Кёльнского собора, с ним случился ужасный приступ, он упал, хватаясь руками за перила, потерял сознание и в номере гостиницы скончался.

Тело первым же самолетом отправили на родину. Похоронили Сильвестра в фамильном склепе на Ваганькове. Склепе, наполовину заброшенном, одичалом, под заросшим крапивой, покосившимся мраморным (о, этот потемневший кладбищенский мрамор!) крестом и распростертыми крыльями скорбного ангела, держашего лиру.

На фотографии в фарфоровом медальоне различаются столь знакомые всем его близким черты. Неимоверная аристократическая худоба при высоком росте, ранняя седина (он запечатлен тридцатилетним), нестерпимой синевы глаза, иноческая борода, глубокая морщина посреди выпуклого и сумрачно надвинутого на глаза лба и характерная для всех Салтыковых складка губ, сомкнутых и как бы вобранных вовнутрь.

Под фотографией кладбищенские камнерезы выбили две даты, соединив их черточкой: 12.02.1910—02.02.2000.

До девяностолетия не добрал десяти дней (юбилей собирались отметить в Москве, по-семейному, под старым абажуром, почему-то прозванным у Салтыковых Шубертовским, без особых гостей). Срок жизни, хотя и немалый, завершился. И вот остались тетради, как уже сказано, доставшиеся мне, хотя я и не первый их владелец, и, наверное, не последний. Во всяком случае, брать их с собой на суд Осириса — иными словами, в могилу — не собираюсь.

3

Почему Сильвестр вел эти тетради — не год и не два, а всю жизнь и почти без перерывов? Правда, был перерыв, когда сидел в одиночной камере на Лубянке — сразу после ареста. Но там, в одиночке — какая же тетрадь! — и поговорить-то не с кем. Разве что со следователем, если вызовут на допрос. Но протокол допроса — жанр несколько иной, тоже, конечно, *художественный*, но в особом роде (особенно когда умело и вдохновенно бьют по печени и почкам). На разговорную тетрадь протокол-то мало похож, поскольку в нем все по принуждению, насильно, с угрозой. Хотя если подпишешь признание, что завербован турецкой разведкой и снабжен динамитом, чтобы взрывать мосты, то иной раз и чаю с печеньем дадут, а то и водки...

Словом, на Лубянке Сильвестр побывал (как и Генрих Нейгауз, с началом войны тоже сидевший в одиночке по подозрению, что ждал падения Москвы и прихода немцев). Отсюда и пробел — прочерк — в тетради,

но и то единственный, поскольку других не было (если не считать случайных и незначительных).

Тетради Сильвестр вел исправно, аккуратно и берег пуще глаза своего. Прятал в стол при стуке в дверь и запырал на ключ...

Что это, спрашивается, — блажь, прихоть, чудачество, желание прослыть оригиналом? Или, напротив, свидетельство напряженной внутренней жизни, *духовных* (не любил он этого слова и употреблял лишь в редких случаях, не подбрав подходящей замены) поисков? Или даже стремление подражать старцам, по их примеру заградить уста и выбросить из души словесный сор?

А может, он и сам старец? Сохранилась же его фотография в монашеской скуфейке или шапочке, похожей на ту, что носил Алексей Федорович Лосев, тайный монах. Очень уж она ему отвечает, соответствует, шапочка-то, словно по его мерке сшита. Хотя на самом деле разыскал ее где-то под Карагандой, в глухом, заброшенном монастыре. Ну и примерил: истинный монах, чернец, черноризец.

Так, может быть?..

Представляю, как рассмеялся бы Сильвестр (смех у него был хороший, чистый, заразительный) в ответ на такое предположение. Стал бы отшучиваться, дурачиться, коллобродить — чего доброго, налил и опрокинул бы стопку, чтобы наглядно продемонстрировать, какой он образцовый (изразцовый), многоопытный старец.

Мол, оно хорошо бы выбросить из души весь сор-то, но не выбросишь (только больше прежнего засоришь душу) — в лучшем случае доверишь бумаге.

Отсюда и тетради...

А в общем причины были разные (только не глухота — глухотой он, в отличие от Бетховена, никогда не страдал),

и я о них еще расскажу. Сейчас же отмечу лишь главную, на мой взгляд, причину. Сильвестр терпеть не мог долгих разговоров (в ссылке под Карагандой он вообще почти год безмолвствовал), особенно выяснения отношений, всяких словесных дрызг и часто, прервав своего собеседника, предлагал: «Давай запишем все, что мы хотим высказать друг другу. Будет гораздо короче».

К тому же тетради заменяли ему дневник, а вот какой именно (дневник дневнику, понятно, рознь) — тут следует объясниться.

Главным дневником Сильвестра была церковная исповедь, которую он иногда предварительно записывал, чтобы ничего не упустить, хотя потом эти записи уничтожал. Но помимо главного он нуждался в дневнике второстепенном, на каждый день, на случай. Туда попадала всякая мелочь, всякая всячина, всякий вздор — тот самый словесный мусор, — в том числе и разговоры, коим он был свидетелем. Конечно, если в них что-то цепляло — хотя бы фраза, как в разговоре Шостаковича, который признался собеседнику, что ненавидит, когда останавливаются часы (страх смерти), и любит, чтобы на рабочем столе стоял стакан с папиросами.

И таких разговоров у Сильвестра записано множество. Ведь во времена его юности, в тридцатые годы прошлого столетия, говорили без умолку, соловьями разливались, заходились, как тетерева на току. И в Коктебеле у Габричевского, и в Москве у Нейгауза, и в Переделкине у Пастернака, и у Юдиной в квартире на Дворцовой набережной...

Хоть и панически боялись доносов и арестов, хоть и прислушивались ночами к шагам на лестнице (дробный стук каблуков особенно не предвещал ничего хорошего), хоть и держали наготове... ну, об аккуратно собранном

чемоданчике уже много сказано (чемоданчик Салтыковых хранится у меня как музейная ценность), а все равно говорили.

И разговоры были изысканные, как тот самый жираф на озере Чад, и люди — при всех их слабостях и недостатках — умнейшие и *со слухом* (хоть и не все из них музыканты). Музыка для них была страстью, предметом философского созерцания, одной из стихий, на которых держится мир.

4

Впрочем, с высот философского созерцания часто опускались на что-нибудь попроще — житейское, будничное, обыденное. И не то чтобы сплетничали, но позволяли себе, словно ненароком, обронить словечко, *пройтись*, царапнуть, ущипнуть, кольнуть. По этой части были умельцы хоть куда. Я бы сказал, *виртуозы* (раз уж речь идет о музыкантах). Даже позволяли себе посплетничать — а как же! — и это любили, но не опускались до кухонных склок, до обывательских пересудов.

Скажем, в 1936 году много говорили о возвращении Сергея Прокофьева. Возвращению насовсем — в отличие от гастрольных наездов (побывок), коих у него было немало, и всегда его шикарно (словечко из тогдашнего лексикона) принимали, и выступал он с триумфом и овациями. Таким образом, мысль об окончательном возвращении постепенно вызревала, тем более что вся обстановка ненавязчиво (казалось бы) и в то же время властно склоняла к этому. Режим нуждался (и будет нуждаться) в знаменитых эмигрантах, вернувшихся на социалистическую родину.

Осознавал ли Прокофьев до конца, *куда* возвращался? Тем более возвращался вместе с красавицей женой, певицей, каталонкой по отцу, и прелестными мальчиками Олегом и Святославом? Думается, осознавал, да и со всех сторон предупреждали, предостерегали, нашептывали — как тут не осознавать. В его парижском окружении были такие беспощадно трезвые, желчно-скептические и пронизательные люди, как Петр Петрович Сувчинский (позднее с ним переписывалась Юдина), — уж они-то знали цену режиму.

Впрочем, позднее это не помешало Сувчинскому разыграть евразийскую карту и подать прошение о возвращении в СССР. Но то был идейный выбор. Если угодно, жертва. Прокофьев, воспитанный в донецких степях, с детства запомнивший скифских каменных идолов, тоже не был чужд евразийству, хотя опасался за жену и детей, медлил, сомневался, присматривался. Но, однажды приняв решение, Сергей Сергеевич не хотел от него отказываться. Кроме того, свою (роковую) роль сыграл его природный оптимизм и вера в благое начало, в конечное торжество добра — словом, во все хорошее и даже социалистическое.

Да и, как человек рационального склада, не мог допустить, что его — гения (а Прокофьев, несомненно, знал, что он гений), мировую знаменитость — могут морально уничтожить, осудить, растоптать и сослать в лагеря как врага народа. По его мнению, это было бы безумием, а безумие, бред, алогизм, кафкианский абсурд он исключал из своей картины мира.

Это был именно взгляд эмигранта. Но в Москве тридцать шестого года на это смотрели иначе, не столь оптимистично, о чем свидетельствует записанный Сильвестром